ЛЮДИ ИЗ МРАМОРА

Надежда АЖГИХИНА

1

Я прилетела в Варшаву в тот вечер, когда польские газеты сообщили об аресте бывшего министра внутренних дел Милевского и группы его недавних подчиненных. Всю дорогу из аэропорта друзья говорили об этом.

— Тридцать пять килограммов золота — такое обвинение. Наверное, окажется еще больше. Давно ребята из милиции рассказывали, что ценности, изъятые на таможне, не полностью поступают в банк. И материал собирали долго.

— Однако же успели к самому разгару избирательной кампании!

— Ты спрашиваешь, где их арестовали? Дома, конечно! Или на своих виллах — никто и не думал прятаться, жили, так сказать, на заслуженном отдыхе.

— Милевский любил на родине бывать, в деревне. Понятно, там было полегче, чем у соседей. Но главное — он шоссе прямо к селу построил, лучшее во всем воеводстве. За казенный, естественно, счет...

Мимо проносились светящиеся огнями воздушные эстакады, темные парки, гигантские рекламы — «Кодак», «Сони», «Кока-кола». И на миг показалось, что за окном автомобиля мелькнул иной пейзаж — наше нечерноземное бездорожье, пересеченное идеальной шоссейной ленточкой к совхозу, где родился очередной лидер или герой, и услышались другие голоса — голоса московских друзей на кухне, где Владимир Калиниченко рассказывал о казахском и узбекском золоте, запрятанном в кубышки недавними вершителями судеб народов, и голос адвоката Макарова на «чурбановском процессе»... И все эти дни чем больше узнавала я сегодняшнюю Польшу, тем острее думала о наших родных делах и бедах, и дела наши, отраженные светом Польши, рождали все больше и больше порой очень неожиданных вопросов, и я ходила по улицам, заходила в редакции, телестудии, разговаривала с людьми и неотступно пыталась найти на них ответы.

Вопрос первый: хорошо ли жить при рынке? Первым же утром в Варшаве



ек на английском, французском, немецком, китайском и иных языках в совершенно пустом кондитерском отделе, и отсутствие очереди за детскими колготками всех расцветок и размеров, и некоторый выбор в отделе дамской обуви и легкого платья, который, впрочем, заслуживает отдельного разгово-

конторы валютного обмена (видела такие потом всюду в центре, возле вокзалов и даже в подземных переходах). Ни паспорта, ни гражданства здесь не нужно — достаешь пачку долларов, фунтов, марок или наших рублей и меняешь на злотые. Наш рубль, как гласила дощечка возле окошка, стоит 520

моих глазах подошел человек и купил бутылку.

Как сказал один из популярных польских лидеров: «Уровень жизни упал, качество жизни повысилось».

— Сколько же денег нужно поляку? — спрашиваю я у своих друзей. Мы сидим на просторной кухне, так похожей на многие кухни друзей в Москве, и в Ленинграде, и в Череповце, и Киеве, и других городах, где собираются и сидят допоздна, разговаривая обо всем на свете.

— Столько, сколько у него никогда не будет,— говорит Ярослав Каминьский.

Я не понимаю. Каминьский — телережиссер, снимает примерно по одной ленте в полтора месяца, зарабатывает в месяц около миллиона (средняя зарплата в Польше — 800 тысяч), жена работает в популярном журнале и в издательстве, получает столько же. Один сын. Есть неплохая квартира, автомобиль — благополучная семья, одним словом.

— Поначалу было удивительное ощущение: приходишь в магазин и покупаешь хорошие конфеты, хорошие вещи,— говорит он,— но потом наступала вторая половина месяца, и оказывалось, что денег нет. Ты можешь не покупать каждый день туфли и рубашку, но ты должен есть, кормить своего ребенка, платить за квартиру — мы платим сто пятьдесят тысяч в месяц, за телефон, свет. Теперь мы, выходя из комнаты, всегда выключаем свет — раньше этого не было. Моника не любит темноты.

— Все-таки цены стабилизировались, больше не растут? — спрашиваю я.

— В целом нет. Но вот бензин только на этой неделе подорожал на 500 злотых за литр. И, говорят, будет еще дороже.

— Но зарплата тоже, кажется, растет...

— Конечно. Раньше мы зарабатывали 20 долларов в месяц, теперь — 100. А рыночные цены равняются на доллары. У нас восточная зарплата и западные цены — вот в чем дело. И поэтому все озабочены, где бы побольше заработать и хорошо бы заработать доллары или марки. Люди стали более зам-

очень неожиданных вопросов, и я ходила по улицам, заходила в редакции, телестудии, разговаривала с людьми и неотступно пыталась найти на них ответы.

Вопрос первый: хорошо ли жить при рынке? Первым же утром в Варшаве я задаю его сама себе скорее риторически: кто же не знает, что в нем, рынке, наше последнее спасение и надежда, на его загадочные для обывателя законы и рычаги — все упования. И отправляюсь в центр Варшавы — поглядеть, как это наяву происходит у них, у поляков. Автобус катит мимо ажурных мостов, мимо памятника Шопену, советского посольства, президентской резиденции, мимо здания привычной «обкомовской» архитектуры — бывшей штаб-квартиры ПОРП, так и не обретшего новых хозяев, и останавливается напротив самой обычной «высотки» — под стать своим братьям-близнецам с площади Восстания, Красных ворот или Смоленки — департамента культуры. Подземный переход — и я в торговом сердце столицы.

Человек, только что попавший в варшавские торговые ряды после наших московских, испытывает ко всему окружающему специфический, я бы сказала, экскурсионный интерес. Мой наметанный глаз моментально оценил и шесть сортов ветчины, и дюжину видов сыра, и соревнование ярких наклеенно пустом кондитерском отделе, и отсутствие очереди за детскими колготками всех расцветок и размеров, и некоторый выбор в отделе дамской обуви и легкого платья, который, впрочем, заслуживает отдельного разговора. Проходя с торжественностью экскурсанта мимо прилавков, где теснились не покупатели, а товары, я вспоминала слова моей подруги Уршули: «Сначала были очереди. Потом — талончики (по-вашему — карточки). Потом не было ничего. В магазинах — один уксус. А потом наступил день, когда и уксуса не стало. Это было совсем недавно». И я ловлю себя на том, что прохожу по отделам огромного магазина не просто от любви к новым знаниям, а как будто проверяю, нет ли в каком углу под вывеской «Парфюмерия» или «Трикотаж» этих самых унылых полок с уксусом. И, как ни странно, не нахожу.

Слава тебе, о рынок, за какой-то ничтожный для жизни человеческой срок превративший прилавки с уксусом в цветущие сады, расстеливший в безводной и скудной пустыне сверкающую скатерть-самобранку!

Я уже готова слиться со стайкой покупательниц ближайшей секции «Косметика», как вдруг понимаю, что все свои польские деньги оставила дома, в кошельке — только несколько десятирублевок. Но рынок снова выручает: рядом с лестницей замечаю окошечко

ловов и даже в подземных переходах). Ни паспорта, ни гражданства здесь не нужно — достаешь пачку долларов, фунтов, марок или наших рублей и меняешь на злотые. Наш рубль, как гласила дощечка возле окошка, стоит 520 злотых (по официальному курсу вдвое больше), и каждая моя «красненькая» превращается в пятитысячную бумажку с мелочью. Пора наконец за покупками.

Покупаю пластмассовый складной самолет за шесть тысяч (в уме прикидываю — двенадцать рублей), детские джинсы за шестьдесят, теннисный шарик за шестнадцать и в отделе заводных игрушек понимаю, что мой сын, владеющий тремя сборными железными дорогами и десятком машин на батарейках,— настоящая акула капитализма: каждая из таких стоит в пересчете на рубли от 50 до 150, а о паровозах со свистками и говорить не стоит. На свои десять рублей я могла бы беспрепятственно купить: два тюбика зубной пасты «Луноплант», или сто граммов ветчины, или килограмм свежего сладкого перца, или упаковку итальянских макарон, или полторы банки пива, или кусок свежей вырезки на один антрекот. Бутылка вина «Каберне» обошлась бы мне в двадцать пять рублей. В одном из самых фешенебельных магазинов Варшавы я видела французское шампанское, которое стоило полмиллиона. На

А рыночные цены равняются на доллары. У нас восточная зарплата и западные цены — вот в чем дело. И поэтому все озабочены, где бы побольше заработать и хорошо бы заработать доллары или марки. Люди стали более замкнутыми, раздражительными, стали меньше общаться.

— Давайте посмотрим новости,— сказала Моника,— что нового о Милевском.

И мы включили телевизор. Но новости уже закончились, шли титры очередной серии цикла «Династия» («Вроде «Рабыни Изауры», но по-американски»,— сказала Моника. Впрочем, «Изаура» здесь тоже шла). По другой программе выступал ксендз. По третьей — повторение утреннего урока по Закону Божьему.

— А ваш сын посещает этот урок? — спрашиваю у Ярека и Моники.

Оказывается, нет. Таких, как он, в классе всего трое, они гуляют во дворе, пока остальные занимаются с ксендзом (урок добровольный, но включен в учебную сетку). Уже возникает непонимание со сверстниками.

— Отношения с Богом,— говорит Ярослав,— это личное дело каждого. И едва ли выйдет доброе, если духовная жизнь человека становится каким-то общегосударственным делом, это уже было. Церковь много сделала в прошлую выборную кампанию, теперь она старается занять место идеологии

и диктовать общие моральные нормы. Но люди изменились, это уже не прежние католики, они многого не понимают. Не понимают, почему им запрещают делать аборты, когда жизнь такая тяжелая, почему еженедельно в церкви надо платить деньги, почему дома для ксендзов строят быстрее, чем для всех остальных, а с жильем у нас неважно. Это очень хорошо, что церковь всюду может высказать свою позицию по любому поводу. Но я, если я живу в свободной стране, должен иметь право и не верить в Бога...

2

— Что такое свобода? — спрашиваю у Яцека Попшечко, заместителя главного редактора еженедельника «Политика». В кабинете у Попшечко беспрерывно звонит телефон, меняются сотрудники с подписными полосами — горячая пора. И слышу в ответ:

— Боюсь, это — то, чего мы еще не понимаем.

О свободе в Польше говорят все. Валенса, призывающий избирателей сделать свободную Польшу для поляков. Михник, выступающий за свободную консолидацию поляков со всеми остальными европейскими народами и государствами. Все полтора десятка претендентов на высший государственный пост говорят только о свободе. О ней же беспокоятся и молодые люди, демонстрирующие возле советского посольства во имя освобождения от советского присутствия. И люди, ратующие за свободу польского меньшинства в Литве...

— Прежде всего многим кажется важным освободиться от прошлых воспоминаний, от ПОРП. Бывшие члены ПОРП сегодня первые кандидаты в безработные, высокий пост им не угрожает. Недавно знакомый взял такси: за рулем оказался бывший работник аппарата ЦК. Рад, что смог устроиться таксистом.

— Наверное, все же такой пример — исключение.

— Кто-то работает по специальности, кто-то на пенсии. Но знаю и такой случай: в прямом эфире по радио бывший партиец делился воспоминаниями о себе и о коллегах, рассказывал очень интересные вещи — слушатели просили даже продлить передачу за счет других программ. Но последующих выпусков не было.

— От чего сегодня не свободен журналист?

— Многие боятся потерять работу. Многие уже потеряли. Падают тиражи — это естественно, цены растут, и надо выбирать: подписка или что-то очень необходимое семье.

— Сколько стоит подписка на наш журнал?

— По-моему, около восьмисот тысяч.

— Готова ли «Политика» к конкуренции?

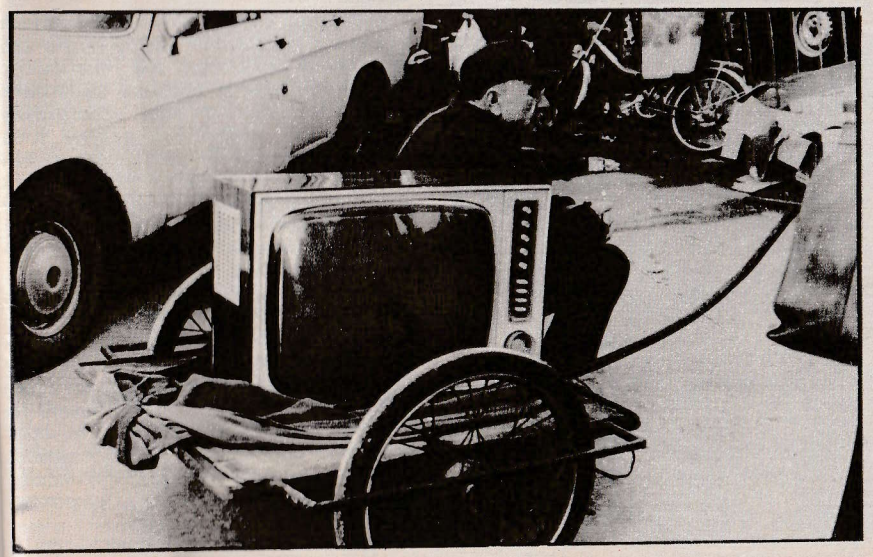
— У нас четкая позиция и сложившаяся репутация, дело в том, что и раньше мы позволяли себе чуть больше других и сейчас стараемся давать оперативную, четкую информацию, стараясь оставаться качественной печатью. Читатель нас знает и интереса к нам не утратил, как мы убедились. Сейчас газета переходит на полную самоокупаемость, есть проблемы, но опять-таки у нас положение стабильное, мы приносим доход и, надеемся, скоро почувствуем это реально. Хотя многие издания на грани закрытия, особенно специализированные.

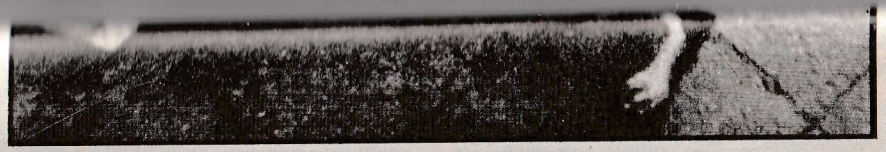
— А новые газеты?

— Мы их не считаем конкурентами. Скажем, «Детектив» — узконаправленное издание. Сегодня покупают «Скандал», «Пан» — польский «Плейбой», но эта популярность недолговечная. Вот смотрите первую страницу «Скандала» — изнасилование, массовое убийство, откровенная картинка... Людям необходимо серьезное чтение. Хотя, конечно, рынок сказывается на культурном уровне, но, я уверен, это явление









преходящее. Важно держать планку качества высоко...

Я иду по старой Варшаве теплым осенним вечером, мимо величественного кафедрального костела, мимо замка и рыночной площади, где встречаются влюбленные и продают цветы, помаду, сувениры. И слышу снова родную речь. Откуда? Да как же, вспоминаю я, замечая ассортимент уличного торговца — наши пузатые чайники, утюги, даже зубная паста, даже стиральный порошок. Раньше наше общественное мнение свято верило в то, что это поляки не могут без торговли: они скупили наши телевизоры, пылесосы и растворимый кофе. До последнего времени в Варшаве были такого же мнения о восточных немцах, лавиной обрушившихся на западные границы страны. Сегодня на польских улицах наши соотечественники торгуют всем, даже турецким чаем — все равно дороже, чем у нас. У такого самостийного продавца цена обычно на 10—20 процентов ниже магазинной. Прибыль? Посудите сами: покупаешь за 6 рублей упаковку «Диксана» и продаешь в Варшаве за сорок без малого (а в магазине — все шестьдесят!).

Я вижу улыбающихся таксистов, готовых везти хоть на край света в автомобилях любой марки, но не вижу желающих воспользоваться их услугами и понимаю почему: опаздывая в редакцию, мы с Уршулей поймали такси и за три километра по городу выложили пятнадцать тысяч (считайте — тридцать рублей).

Мы заходим в крошечное, уютное кафе и пьем настоящий варшавский кофе. За соседним столиком — совсем юные ребята, по виду студенты. Так оно и оказывается. Юристы.

— Что вы будете делать после университета? — спрашиваем мы.

— Я не знаю,— отвечает один.

— Из курса, который в прошлом году получил дипломы, много безработных,— говорит другой.— Кому повезло, уехали.

— Куда?

— Куда-нибудь.

— А ты думаешь тоже уехать?

— Наверное... Чего ждать-то...

— Как чего? Когда в Польше не останется ни одного коммуниста!..

Нетерпение, как прочно, накрепко вошло ты в нашу кровь, в поры, определило таинственный вектор души. С давних времен — с народовольцев еще, с польского восстания, с первых революций — жгло молодые и созревшие сердца какое-то томительно-будоражащее, ни с чем не сравнимое: глотнуть свободы, шагнуть к новому раю — наотмашь, немедленно, не дожидаясь лучших дней... Нетерпение свободы. Нетерпение возмездия. Нетерпение рынка?.. И сегодня мы — не так ли, как наши деды некогда,— стремимся поскорее отряхнуть прах былого с наших ног, поскорее обрести новые истины и опоры? С тою же поспешностью, как сбрасывались с корабля современности вековые уклады и древние святыни, мы рвемся водрузить на не остывшие еще пьедесталы новых кумиров. На место Его Величества Плана — Его Сиятельство Рынок, на место поверженного Ленина — Богородицу, на постамент свергнутого комиссара — казачьего

атамана... И уж если ходить в церковь, то всем классом, почти как на пионерский парад, не дожидаясь, пока созреют в смятенных душах ростки подлинной, глубокой веры... Ведаем ли мы, что творим в пылу и восторге обновления? Не получится ли, что, поменяв наскоро полюса «плюс» и «минус», мы не изменим сути ни в мире, ни в себе самих, не приведем ли — сами себя — к новому, неизведанному повороту?

На прекрасном берегу Вислы, политой примиряющим осенним солнцем, в зареве полыхающих садов я думала об этом. И снова не могла найти ответа...

3

Выезжая из Варшавы на юг, попадаешь в страну теплиц. Ровненькие, как нарисованные, они тянутся почти до горизонта. Здесь круглый год зреют помидоры, огурцы, зелень, бесперебойно поступающие в торговлю. Огород всей Польши, от которого перепадает и нам. Теплицы закончились, потянулись поля — широкие, просторные. Тучные коровы неторопливо жуют траву, упитанные овцы топчутся возле рощицы, парень в кепке «адидас» лихо выруливает на мини-тракторе (редкость еще, только обсуждается вопрос об их производстве в стране), женщины в шерстяных кофтах с продранными рукавами и галошах возятся с сетками картошки, которые перекидывает в повозку, запряженную симпатичной лошадкой, человек в безрукавке. Картошка крупная, отборная, просто светится на солнце. Как светятся румяные яблоки, пригибающие к земле ветки аккуратных деревьев, как крыши домов — ладных и крепеньких, возле которых стоят на приколе один-два автомобиля, а то и грузовичок. Первыми официальными миллионерами в Польше стали крестьяне. Фрукты и овощи, выращенные в частных садах и теплицах, не только решили продовольственный вопрос, но и принесли валюту.

— Зачем же они бастуют? — спрашиваю я у Гжегожа Дубовского.

— Им невыгодно снижение цен,— объясняет Дубовский.— Теперь появилось много высококачественной продукции из Германии, Бельгии. Она не только лучше, но иногда и дешевле местной. Наш крестьянин этого не может понять. Ему долго говорили: ты плохо живешь оттого, что плохо работаешь. Но вот он разоряется тогда, когда работает хорошо, изо всех сил — он не в силах это воспринять. За пятьдесят лет души поменялись, их нельзя так сразу перевоспитать.

Останавливаемся возле сельского магазина. Типовое здание — как у нас

— Как правило, люди из села. По статистике, для того чтобы открыть самый скромный магазинчик, нужно несколько миллионов.

Снова дорога — новые поля, лесная чащоба, снова деревни с неизменными капличками (маленькими часовенками) на выезде... Вот и Сандомеж.

Он стоит высоко над Вислой. На гравюре XI века город кажется причудливой табакеркой, сработанной средневековым мастером в минуту особо прихотливого вдохновения: островерхие крыши, над которыми возносятся шпили костелов со стрельчатыми окошками и кружевной вязью оград. И сейчас, снизу, он по-прежнему кажется произведением чьей-то одной фантазии — готические силуэты колокольни, стена бенедиктинского аббатства («работает, как бенедиктинец»,— уважительно говорили здесь), старая гостиница над городской стеной...

Именно таким в августе 1944 года увидел его — с другой стороны реки — советский полковник Скопенко, командующий наступлением на этом участке фронта. И поклялся, как говорит легенда, взять этот город, не разрушив ни одного дома. Город был взят и уцелел. Сам Скопенко завещал, если суждено будет погибнуть на этой войне, похоронить себя здесь. Он погиб вскоре на Одере и был похоронен на кладбище, в части, отданной павшим советским солдатам. Главная улица города была названа его именем и напротив аббатства был установлен его бюст.

Бюста на прежнем месте я не застала — там, где стоял памятник, осталась сиротливая плита, а напротив, через дорогу,— непритязательная пирамидка со звездой «Отечественная война» и надпись краской наискосок — «разобрать».

— Там написано «Отечественная война»,— сказал мне сандомежец Збигнев Пулавский,— это памятник завоеванию, а не освобождению. И ценности никакой. Бюст Скопенко аккуратно перенесли на кладбище, к могиле.

— Название улицы останется прежним?

— Раньше она называлась «Опатовская», это историческое название. Вопрос практически решен.— И добавил: — Знаете, люди помнят правду, а не только социалистическую пропаганду. За то время, как пришла Советская Армия, ваше НКВД расстреляло и выслало больше людей, чем за все предыдущие годы войны. Расстреливали и крестьян за помощь партизанам.

В местном музее народного движения — флаги и реликвии повстанческих отрядов польской армии, подчинявшейся буржуазному правительству в Ан-

с ним. Дома она слушала рассказы Янины о том, каким Сталин был в жизни. Как жили в большом доме над Москвой-рекой, где ее муж, соратник Тухачевского, незадолго до ареста получил квартиру, о том, что сам Тухачевский прекрасно танцевал, а Ворошилов любил делать подарки, подарил ей гарнитур из карельской березы на именины... Разве ненавидела она мою бабушку за то, что она русская, как Ворошилов и Буденный, которые убили ее мужа и отняли сына? Там, в далекой Сибири, все были равны — русские, татары, китайцы, евреи, немцы Поволжья и Западной Украины, поляки, киргизы, у всех была одна судьба — судьба людей, обрученных с неволей, независимо от того, были они сами репрессированы или нет.

Разве не одна судьба у нас сегодня? И не об этом же говорил в Москве Анджей Вайда, представляя наконец-то советскому зрителю свой знаменитый фильм «Человек из мрамора»? Изваяния из мрамора и бронзы были сделаны для нас по единому образцу и правили нами с равной беспощадностью. И сейчас, когда, кажется, насовсем задвинуты они в дальний чулан, свергнуты, демонтированы от края и до края, рано нам, рано трубить победу — их осколки, как в сказке Андерсена, попали в сердце, застыли там и не отпускают на волю... Где они, люди из мрамора? Они живут в нас самих. И пока живы в сердце, они будут делить нас на русских и поляков, бывших коммунистов и бывших оппозиционеров, на чистых и нечистых, рыцарей рынка и осторожничающих, забывая, что спастись никому в одиночку не удастся, что судьба у всех одна... Она действительно одна.

«Пора зачислить в разряд мифов неизбежность нашей взаимной враждебности,— написал в своей книге «Спор о России» Анджей Дравич, нынешний руководитель Польского телевидения.— К тому же в разряд мифов нехристианских и просто неумных. Вечных врагов не существует так же, как не существует вечных черт национального характера. Нашим врагом была не Россия (как не была им никогда ни Германия, ни Турция, ни Швеция), нашими врагами были и остаются до сих пор определенные системы: российский царизм и российский большевизм... Да, болезнь, которой больна Россия, опасна и заразна. С советизацией бороться труднее, чем некогда с русификацией, а борьба эта составляет суть нашей жизни... Но порабощенные, живущие плохо и с каждым днем все хуже советские граждане объективно являются нашими союзниками. В семье узников

ся, пора привыкать жить по-соседски. Пора разрушить очень многие стереотипы. В том числе и тот, что у нас на родине никакого интересного опыта не было, что учиться можно только у Запада. Поэтому мне и интересна фигура Александра Патковского, и я снимаю о нем кино.

Александр Патковский, кто он был? Скромный учитель гимназии, основатель кооперативного движения в регионе, государственный муж?

— Он никогда не интересовался политикой и не принадлежал ни к какой партии. И он хотел увидеть великую Польшу. Тогда, в 1918-м, ее не было — был русский кусок, немецкий и австрийский. Патковский считал, что великой страна станет только тогда, когда каждый научится любить свою малую родину — город, село — и постарается сделать все возможное для них. Сам написал несколько книг по краеведению, организовал первое экологическое движение — в 20-е годы — и отстоял Августовскую пущу от вырубки! Но главное, он считал, нужно воспитать свободного человека. Основал летние курсы для педагогов, сюда, в Сандомеж, приезжали лучшие польские профессора, он развил школьное самоуправление и кооперацию, его опыт распространился по всей стране. Он считал, что величие народа начинается с величия души...

— Для меня,— говорит Збигнев Пулавский,— это образец интеллигента, гражданина и поляка.

Збигнев основал в подвале сандомежской ратуши городской клуб интеллигенции имени Патковского. Именно интеллигенция, считает он, должна создать предпосылки для возрождения регионализма. И отмечает первые шаги — постепенно в родные города возвращаются люди с университетскими дипломами. Сам Пулавский, инженер, несколько лет назад тоже вернулся.

Мы идем узкой улочкой, мимо витых фонарей, похожих на декорацию к фильму о средневековье. Наверное, и у нас в Костроме и Ярославле найдется такое же уютное место вблизи памятника старины и знаменитый земляк. Но сначала, думаю я, все-таки нужно, чтобы в домах и на прилавках Ярославля стало так же, как в Сандомеже или Варшаве, иначе, боюсь, не поедет туда университетский выпускник.

— А тебе не захочется уехать отсюда, как ты думаешь? — спрашиваю Гражину Миларскую. Гражина закончила католический университет, театровед по профессии, работает в музее.— Вообще много твоих одноклассников здесь?

ешь. Но вот он разоряется тогда, когда работает хорошо, изо всех сил — он не в силах это воспринять. За пятьдесят лет души поменялись, их нельзя так сразу перевоспитать.

Останавливаемся возле сельского магазина. Типовое здание — как у нас в Подмосковье или на Орловщине,— до боли знакомые контейнеры, разболтанные весы. Даже очередь — небольшая, но сплоченная и молчаливая. За ливерной колбасой. Только на прилавках, помимо ливерной, тот же набор, что и в центральном продмаге Варшавы,— английский чай, французское печенье и греческие маслины. У продмага, под березкой, три нестарых селянина (чуть не сказала — колхозника) закусывают плавленым сырком настоящий итальянский вермут емкостью 0,8.

Может, оттого, что пейзаж здесь похожий — те же холмики да овраги, и растут те же березы да елки,— все кажется мне, что заглядываю, как в щелку, в наше недалекое будущее и вижу наше село через год или через пять лет... Будет ли у нас так же? Или будет иначе?

Город Тарнобжег, узкая улица, невысокие дома, здание бывшей синагоги. До войны в этих местах шла бойкая торговля, бок о бок жили поляки и евреи, как описано в романах нобелевского лауреата Исаака Зингера. После войны евреев не стало, в этих местах производят бетонные конструкции, стекло, консервы. Почти все магазины в городе закрыты, висят таблички: «Приватизация».

— Кто чаще всего покупает магазины?

и выслало больше людей, чем за все предыдущие годы войны. Расстреливали и крестьян за помощь партизанам.

В местном музее народного движения — флаги и реликвии повстанческих отрядов польской армии, подчинявшейся буржуазному правительству в Англии. В основном это были крестьянские парни, которые сражались за свободу Польши. Но ведь и те, кто шел вместе с советскими солдатами, тоже сражались за Польшу и за свободу. И полковник Скопенко, завещавший похоронить себя в этом древнем нерусском городе, сражался не только за свою Россию, но и за Польшу и ее свободу...

— В том, что многие считают всех русских завоевателями, виновата и наша пропаганда,— говорит мне Уршуля Латушевская.— Нам так долго внушали, что все хорошее, что есть у нас, принес «старший брат», а мы люди второго сорта.

«Бывший брат» — так сказал недавно популярный телекомментатор. По всей стране в школах отменяют урок русского языка, тысячи педагогов срочно зубрят английский. Книгопродавцы жалуются: невозможно продать любую книгу русского автора.

Разве бывают братья и сестры бывшими?

Я слышала о Польше с детства. Мою мать воспитывала польская женщина Янина Черняховская. Она пела ей польские песни и дожидалась ночами бабушку. Бабушка приходила поздно: Сталин не спал, и все служащие сибирских шахт, включая матерей малолетних детей, должны были быть солидарны

на и заразна. С советизацией бороться труднее, чем некогда с русификацией, а борьба эта составляет суть нашей жизни... Но порабощенные, живущие плохо и с каждым днем все хуже советские граждане объективно являются нашими союзниками. В семье узников коммунизма солидарность — требование не только этическое, но и стратегическое. В перспективе будущих польско-русских, польско-белорусских, польско-украинских, польско-литовских отношений мы должны терпеливо моделировать понимание этих истин». Слова не бесспорные, но интересные хотя бы тем, что сказаны в период доперестроечный, действительно нелегкий для наших отношений.

И другое признание, с другой стороны. Ирена Руджинская и Ян Гесс по гражданству — американцы. Покинули Польшу двадцать лет назад и впервые за эти годы на родине. Там, в Америке, они написали удивительную книгу — собрали воспоминания детей, депортированных в 1939 году из Восточной Польши вместе с матерями в глубину России. Почти все они теперь живут в разных странах Европы и Америки.

— Русских людей — крестьян, учителей, детей и взрослых — они вспоминают только добром,— рассказывает Ирена,— вспоминают, что свободные крестьяне в Казахстане и России жили хуже, чем ссыльные поляки. Нам кажется, очень важно, чтобы сегодня люди узнали об этом. Чтобы политические эмоции не заслонили человеческого...

— Мы соседи,— говорит мне Гжегож Дубовский,— и никуда от этого не дет-

университетский выпускник.

— А тебе не захочется уехать отсюда, как ты думаешь? — спрашиваю Гражину Миларскую. Гражина закончила католический университет, театровед по профессии, работает в музее.— Вообще много твоих одноклассников здесь?

— Почти все мои одноклассники теперь далеко — в Ирландии, Германии, Италии. Работают.

— Они вернутся, как ты думаешь?

— Едва ли.

— А ты хотела бы эмигрировать?

— Нет. Но жить очень трудно. Мне помогают друзья. Деньгами тоже. Я получаю 500 тысяч, это очень мало...

Метафора народа, считает известный художник Владислав Хашор,— это его памятники. Пока стоят они, жив народ. В Польше берегут древние памятники и замки — даже при всем небогатстве окружающей жизни они радуют глаз свежей краской и реставраторскими лесами, будь то в центре Варшавы или среди лугов и полей в Баранове. Сам Хашор любит вспоминать в своих работах традиционные фольклорные образы. Одна из очень популярных его монументальных скульптур — кони, летящие вперед, на полном скаку, без всадников. Кони — символ Польши, ее стремления к свободе. Я запомнила еще одного его коня — одинокого, бегущего в языках пламени, похожего чем-то на нашего Сивку-Бурку, который и через пропасть перемахнет, и под небеса взлетит, и вынесет, правдами и неправдами, седока к вольному, широкому полю...

Куда же ты скачешь?..